

М.Е. Салтыков-Щедрин

**Собрание сочинений в 20
томах. Том 12**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
С16

С16 **Салтыков-Щедрин М.Е.**
Собрание сочинений в 20 томах. Том 12 / М.Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2019. – 754 с.

ISBN 978-5-458-63035-1

Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные. Содержание: В среде умеренности и аккуратности. 1874—1877. Культурные люди. 1875—1876. Сборник. 1875—1879 Популяр-ные книги раздела

ISBN 978-5-458-63035-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2019

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2019

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

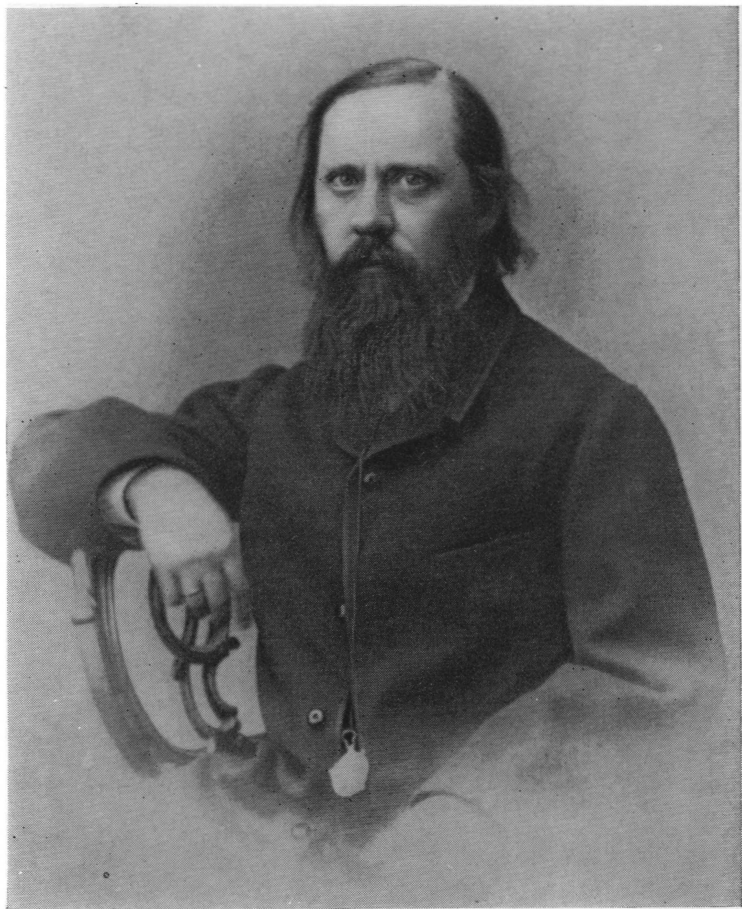
Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint



М Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография 1870-х гг.

**В СРЕДЕ УМЕРЕННОСТИ И
АККУРАТНОСТИ**

ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ

ГЛАВА I

Бывают такие минуты затишья в истории человеческой общности, когда человеку ничего другого не остается желать, кроме тишины и безвестности. Это минуты, когда деятельная, здоровая жизнь словно засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда общество не только не заявляет ни о каких потребностях или интересах, но даже, по-видимому, утрачивает самую способность чем-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякий думает только о себе, а в соседе своем видит ненавистника; когда подозрительность становится общим законом, управляющим человеческими действиями; когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием: бежать, скрыться, исчезнуть.

В такие минуты слишком выдающаяся известность может очень серьезно компрометировать. Одних — в глазах современников, других — в глазах потомства. Первое дает себя чувствовать непосредственно и отравляет жизнь неосторожно прославившегося человека в настоящем; второе хотя и не сказывается осязательно в настоящем, но нужно быть или совсем безумным, или совсем бессовестным, чтоб не понимать, что попасть в историю с нехорошим прозвищем — все-таки вещь далеко не лестная.

Примеров громкой известности первой категории я указывать не стану. Для нас покамест это еще дело новое, хотя в людях, которых жизнь представляет сплошную борьбу с квартальными надзирателями, и у нас недостатка нет. Из репутаций второй категории укажу на известного английского судью Джефффриза, который был настолько бессовестен, что совсем позабыл о существовании истории и ее суда. Однако история

вспомнила о нем и заклеила его имя неувыдаемым позором, в том, конечно, расчете, что пример этого чудовища послужит спасительным предостережением для воспитанников средних учебных заведений. У нас подобных блестящих репутаций до сих пор не было; тем не менее фамилия тайного советника Шешковского в свое время пользовалась настолько громкою известностью, что быть приглашенным к нему считалось честью не совсем безопасною. И что же! Даже наша скромная история, олицетворяемая «Русскою стариною» и «Русским архивом», уклоняется от выдачи похвального аттестата его громкой деятельности!

Я уверен, что если бы Шешковский мог провидеть, что на страницах «Русской старины» будут от времени до времени появляться анекдоты об его подвигах, то он от многого воздержался бы. С этой точки зрения воспитательное значение «Русской старины» не может подлежать никакому сомнению, и остается только сожалеть, что действие его возымело начало так недавно. Имей Шешковский хотя смутное представление о силе исторических обличений, он сказал бы себе: «черт возьми! у меня есть сын (этот сын, действительно, существовал, но не долгие бесследно исчез), у меня могут быть внуки и правнуки — каково им будет читать в «Русской старине» рассказы о «малороссийском борще» (деликатная замена слова «розги») или об особой конструкции кресле, в которое я, для пользы службы (то есть для наказания на теле), имею обыкновение сажать своих пациентов! Ведь я думал, что все это останется шито и крыто, и вдруг... Нет! лучше практику эту оставить!» И мы ничего не знали бы ни о малороссийском борще, ни о кресле особого устройства, ни даже о самом Шешковском. Да, и о Шешковском ничего не знали бы, ибо что такое Шешковский, отрешенный от борща, кресла и других атрибутов его достославной специальности? — Это Иванов, Сидоров, Федоров, Пафнутьев — словом, одна из тех личностей, которых Грибоедов возвел в перл создания в лице Молчалина и которых и современники и потомство разумеют под темным наименованием «и другие». Настигнуть этих «и других», обличить их в чем бы то ни было — ни «Русский архив», ни «Русская старина» не в состоянии. Это люди до того безанекдотные, что упоминание имен их произвело бы на читателя то же самое действие, как, например, перепечатка ревизских сказок.

И Шешковский поступил бы, несомненно, благоразумно, если бы, не настаивая на том, чтоб быть тем знаменитым Шешковским, каким мы его знаем, прямо погрузился бы в пучину «и других». Это было бы с его стороны актом мудрой предусмотрительности, потому что, в сущности, эти «и другие», эти

Молчалины, и суть «излюбленные люди» тех исторических моментов, о которых идет речь. Они полнейшие выразители современной им действительности; они деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные созидатели тех сумерек, благодаря которым настоящий, заправский человек не может сделать шага, чтобы не раскроить себе лба. Они одни сохраняют среди этих сумерек остроту зрения, одни видят и различают. Что различают? — различают ту счастливую область умеренности и аккуратности, под сению которой зиждется человеческое благополучие, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блеском апофеоз, но взамен того вполне удовлетворившееся и успокоившееся в самом себе. И что всего важнее — благополучие, до которого нет дела ни современникам, ни истории.

О, счастливые, о, стократ блаженные Молчалины! Они бесшумно, не торопясь переползают из одного периода истории в другой, никому не бросивши слова участия, но и никого не вздернувши на дыбу (то есть, быть может, кого-нибудь и вздернули, но, ей-богу, не сами собой)! Никто ими не интересуется, никто не хочет знать, делают ли они что-нибудь или просто сидят и бьют в баклуши, никто не трепещет и не благоговеет перед ними... какой прекрасный, блаженный удел! И зато они во веки веков не перестанут быть «и другими»; зато детям их нечего будет стыдиться, все равно как бы они родились без отцов; зато сами они имеют право каждодневно засыпать с сладкой уверенностью, что ни полиция современности, ни полиция будущего не предъявит к ним ни малейшего иска... И им никогда, никогда не будет надобности обращаться к помощи адвоката Легкомысленного, дабы исходатайствовать для себя у суда увеличивающих вину обстоятельств! Зачем? какой суд в целом мире найдет хотя единую вину за человеком, которому имя «и другие»?

Ужели это не блаженство? — спрашиваю я всех и каждого, кто хоть мало-мальски ревнует о целостности своей кожи.

Я вовсе не намерен характеризовать здесь признаки тех исторических моментов, в продолжении которых умеренность и аккуратность представляют счастливейшее условие и надежнейшую ограду человеческого существования. Подобным моментам дают очень разнообразные клички, которые, однако ж, все более или менее группируются около одной, резюмирующей в выражении «переходные эпохи». Но я, с своей стороны, нахожу, что все усилия оправдать жизненный сумбур какими-то таинственными переездами из одной исторической области (известной) в другую (неизвестную) — по малой мере бесплодны. Такие оправдания могли бы быть допущены,

если бы впереди предстояло непременно нечто лучшее и более утешительное; но куда же они годны, если мы вместо лучшего фаталистически осуждены встречаться лицом к лицу с пословицей «из куля в рогожу»?

Поэтому я с некоторою подозрительностью отношусь к подобным объяснениям и совершенно серьезно думаю, что они скрывают за собой великое множество ложных надежд и самых вредных успокоений. Человек любит успокаиваться в ожидании будущих благ, даже если бы последние были и не совсем для него ясны. Он слишком склонен утешать себя тем, что зло есть плод переходных порядков и что, вот погодите, не нынче, так завтра — все установится прочно на своих местах, и тогда добродетель предстанет во всем сиянии торжества. Но вот проходят годы, десятки лет, столетия; добродетель давно уже воссияла, а толку все нет. В ушах все с тою же назойливостью жужжит бесконечная, за душу тянущая песня: «вот погодите, не нынче, так завтра»... Где ручательство, что она не будет жужжать и впредь десятки и сотни лет? Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные, и где человек, одаренный практическим смыслом и имеющий попечение о своей шкуре, должен начать с того, чтоб, отказавшись от всяких запутанных объяснений, прямо сказать себе: живем хорошо, ожидаем лучше. И затем... успокоиться навсегда.

Вот в этих-то мирных уголках, где идиллия счастливым образом совпадает с правилами устава о пресечении и предупреждении проступков и преступлений, умеренность и аккуратность и представляют счастливейший удел человеческого существования. Быть Молчалиным, укрываться в серой массе «и других» — это целая эпопея блаженства! Тут все: и сертификат местного квартала о благонадежности, и свобода от приговоров истории и потомства. Квартал, нимало не сумнясь, запишет в своей истории живота: *Молчалин* живет на Песках (или в Москве, под Донским) — *ни в чем не замечен*. История, в лице «Русской старины», отметит: *Молчалины* многочисленное племя, рассеянное по лицу вселенной, — *ни в чем не замечены*. Аттестация, конечно, стоящая немногим больше ломаного гроша, но неужели она хуже следующей: *Живодеров* (имярек) — заклеил себя неувядаемым позором во время и т. д.

Не забывайте: история не терпит послаблений в своих приговорах. Даже к Сенекам и Галилеям относится она с некоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много ли Галилеев найдется у нас, например, в Колтовской?

Не надобно, однако ж, думать, что Молчалины до такой степени погружены в тину безвестности, что самое существо-

вание их вследствие того делается равносильным небытию. Нет, они пользуются лишь условною безвестностью, которая отнюдь не мешает им подчиняться обычным законам, управляющим органическим миром вообще. И они ходят друг к другу в гости, ссорятся, мирятся, сплетничают, лгут, пустословят, женятся, рожают детей; и они имеют свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошатся и что-то создают. Мало того: некоторые из них, более терпеливые и настойчивые, даже достигают своего рода известности...

Повторяю: их безвестность неполная и условная. Полною и безусловною неизвестностью пользуется только человек лебеды, и уж, конечно, едва ли найдется субъект достаточно наивный, чтоб назвать этот удел блаженным. Молчалины очень хорошо понимают, что бытие лучше небытия, и потому равно сторонятся и от безусловной безвестности человека лебеды и от громкой известности какого-нибудь Галилея, которая, на их глаза, может привести лишь к неприятным столкновениям с полицией...

Начать с того, что в словах «ни в чем не замечен» уже заключается целая репутация, которая никак не позволит человеку бесследно погрузиться в пучину абсолютной безвестности. Ни в чем не замечен — это значит: послушлив, благонадежен, исполнителен и, стало быть, может быть пристроен к какому угодно делу. А коль скоро человек «пристроен к делу», коль скоро он надел на себя вещественный знак этого устройства (чиновничий вицмундир или приказчию чуйку — это все равно), так тотчас же он сделался человеком «нужным», а следовательно, и известным. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвестная известность, которая никого не затрогивает, никому не бьет в глаза, не прибегает к «малороссийскому борщу», но и не огорчает начальства, утверждая, что земля вертится. Одним словом, известность, которая освещает и согревает кротким своим светом только существование своего скромного обладателя, известность, не переступающая пределы той устричной скалы, к которой прикреплены раковины, скрывающие Молчалиных... Я знаю, есть люди из категории «беспокойных», которые, быть может, сочили бы себя оскорбленными, если бы им предложили такого рода известность, но думаю, что в этом случае прозорливость и благоразумие не на их стороне, а на стороне Молчалиных. Только последние вполне ясно понимают, что вместе с безвестной известностью открывается целый мир не блестящих, но прочных благополучий, которые в глазах солидного человека гораздо ценнее всяких апофеоз. Тут все: и верный кусок пирога, и благосклонная улыбка «нужного человека», и спокойный послеобеденный сон,

и чувство обеспеченности от риска сломать себе шею, провалиться сквозь землю или иным образом пропасть... Чего еще надобно!

Божий мир кишит такими безвестными известностями, но даже и это служит им на пользу. Благодаря тому, что их много, на них не обращают должного внимания. Думается, что все это образы без лиц, тени, на которых достаточно дунуть, чтобы они исчезли без следа. Однако в этом взгляде на Молчалиных кроется значительное недоразумение. Вглядевшись пристальнее в жизненный круговорот, мы без труда убедимся, что все в этом круговороте создается руками именно тех «и других», от которых мы так самонадеянно отворачиваемся. Джеффризы потому бросаются в глаза, что они как-то уж слишком блестяще злы; Молчалины, напротив того, скромны и податливы и вследствие того остаются незамеченными. Но не забудем, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных. Одно этого соображения, по мнению моему, вполне достаточно, чтоб не проходить мимо последних с тем обидным равнодушием, которое для всех Молчалиных отводит место где-то далеко, за пределами истории.

Для большей вразумительности приведу пример. Поздним вечером вы идете по улице и вдруг натываетесь на здание, сплошь горящее огнями. Это здание — храм, в котором от начала мира священнодействуют «и другие». Они день и ночь изнемогают здесь, копаясь в некоем месиве, в котором и сами ничего другого не разберут, кроме того, что тут когда-нибудь черт ногу сломит. Тем не менее, благодаря обыденности зрелища, мы так мало обращаем на него внимания, что проходим мимо, не остановив на нем даже мысли своей. И что ж! не успели вы сделать несколько шагов, как вас настигает стрела. Вы озираетесь, ищете... не трудитесь искать! Знайте вперед, что стрела пущена вам вдогонку верною и опытною рукой одного из «и других»... Что нужды, что, пуская стрелу, он и сам не сознавал неключимости своего действия,— все-таки он пустил ее, и она настигла вас!

Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обгаренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезать пирог с капустой.

— Алексей Степаныч! — воскликнул я в ужасе, — вспомните, ведь у вас руки...

— Я вымыл-с, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезать пирог...

Вот каковы эти «и другие», эти чистые сердцем, эти доволь-